

Алексей Николаевич
ТОЛСТОЙ
1882 – 1945

Алексей
ТОЛСТОЙ

Петр Первый

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Т 54

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Толстой А.

Т 54 **Петр Первый** : роман / Алексей Толстой. — СПб. :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 864 с. — (Азбука-
классика).

ISBN 978-5-389-07647-1

Творчество Алексея Николаевича Толстого поистине многогранно: мастер научно-фантастической прозы, создатель всеми любимой сказки «Золотой ключик», автор эпопеи «Хождение по мукам» и многочисленных повестей, рассказов и пьес. Ключевой, объединяющей многообразие сюжетов, в творчестве Толстого оказалась тема России. Размышлениями об ее предназначении проникнут и роман «Петр Первый» — лучший образец жанра исторического романа в советской литературе. Толстой тщательно изучал документальные источники, но говорил, что «исторический роман не может писаться в виде хроники». В центре романа — образ Петра I, правителя огромной страны, который обладает сильным и упорным характером и добивается исполнения своих решений.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

© А. Н. Толстой (наследники), 2017
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-07647-1

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, — вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.

Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка.

— Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы.

Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканные глаза, — как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:

— Озябли? А то на двор сбегает, посмотрим, — батя коня запрягает...

На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, Иване Артемьиче, — так звала его мать, а люди и сам он себя на людях — Ивашкой, по прозвищу Бровкиным, — высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая борода не чесана с самого Покрова... Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком,

лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом:

— Балуй, нечистый дух!

Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил:

— Ничаво, на печке отогреемся...

Иван Артемьич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж попию вдоволь»... Батя надел рукавицы, взял из саней, из-под соломы, кнут.

— Бегите в избу, я вас! — крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцой поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.

— Ой, студено, люто, — сказала Санька.

Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный — конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье...

— Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась... У порога — сор, а на сору — веник... Я гляжу с печки, — с нами крестная сила! Из-под веника — лохматый, с кошачьими усами...

— Ой, ой, ой, — боялись под тулупом маленькие.

2

Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба — тяжелые места. Землею этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году

был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.

Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост — двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалью и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тегилеях, в саблях, в саадаках... Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?

Царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика — почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор-анафема Стенька Разин, — крестьяне забыли Бога. Чуть прижмешь покрепче, — скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон, — оттуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.

Конь плелся дорожной рысцей, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, — гибель в лесах была этой белки. Иван Артемьич лежал в санях и думал, — мужику одно только и оставалось: думать...

«Ну ладно... Того подай, этого подай... Тому заплати, этому заплати... Но — прорва, — эдакое государство! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну ладно... Ты заставь, бери, что тебе надо, не озорничай... А это, ребята, две шкуры драть — озорство. Государевых людей ныне развелось, — плюнь — и там дьяк, али подьячий, али цело-

вальник сидит, пишет... А мужик один... Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство... Так вы долго на нас не прокормитесь...»

Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на колесках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было наострил лапты — поймали, и велено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме — на усадьбе же у Волкова, — а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и вырuchился, что его отписали на Васильеву дачу.

— Здорóво, — сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.

— Здорóво.

— Ничего не слышно?

— Хорошего, будто, ничего не слышно...

Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство.

— Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает.

Иван Артемьич привстал в санях. Жуть взяла... «Тпру...» Стащил колпак, перекрестился.

— Кого же теперь царем-то скажут?

— Окромья, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил...

— Ну, парень! — Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. — Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распропадем...

— Пропадем, а может, и ничего — так-то. — Цыган подsunулся вплоть. Подмигнул. — Человек этот сказывал — быть смуте... Может, еще поживем, хлеб пожуюм,

чай — бывалые. — Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес.

Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы...

3

Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей — образ честного креста Господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы неперелазный тын. Хоть татар встречай... Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал, как положено:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас...

Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, — свои. Проговорил: аминь, — и стал отворять ворота.

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо, резного дерева, крыша луковицей. Выше крыльца — кровля — шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жильё избы — подклеть — из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков под кладовые для зимних и летних запасов — хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но — мужики знали — в кладовых у него одни мыши. А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое...

— Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями, — повинность, что ли, какая?.. — спросил Ивашка. — За нами, кажется, ничего нет такого...

— В Москву ратных людей повезете...

— Это опять коней ломать?..

— А что слышно, — спросил Цыган, придвигаясь, — война с кем? Смута?

— Не твоего и не моего ума дело. — Седой Аверьян поклонился. — Приказано — повезешь. Сегодня батов воз привезли для вашего-то брата...

Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагорожено всякого строения на дворе было много — скотные дворы, погреб, избы, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было всего пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно, — пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, — тот денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки... А все-таки основа — мужички. Те — кормят...

Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось — ушел к другому помещику. Ныне это заказано, — где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова, — как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще труднее будет...

Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела просто-волосая девка-дворовая, бесстыдница:

— Боярин велел, — распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать — избави боже, боярское сено...

Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку, — убежала... Не спеша распрягли. Пошли в дворничью избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина сальную свечу, хлестали засаленными картами по столу, — отыгрывали друг у друга копейки... Крик, спор, один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь — сытые!

В стороне на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубахе, в разбитых лаптях, — Алешка, сын Ивана Артемьича. Осенью пришлось, с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, в мать. По вихрам видно — бьют его здесь.

Покосился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча низко поклонился отцу.

Он поманил сына, спросил шепотом:

— Ужинали?

— Ужинали.

— Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил, — ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь... Вот что, Алеша... Утром хочу боярину в ноги упасть, — делов у меня много. Чай, смиляется, — съезди заместо меня в Москву.

Алешка степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться и — бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:

— Это что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете...

Один, рослый холоп, бросив карты, обернулся:

— А ты кто тут — нам выговаривать...

Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.

4

У Василия Волкова остался ночевать гость — сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках поближе к муравленой печи постланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот.

— Тебе, — говорил гость степенно и тихо, — тебе, Василий, еще многие завидуют... А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое, — остальные в бегах. Я, восьмой, новик, завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками... Как жить? А?

— Ныне всем трудно. — Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. — Все бьемся... Как жить?..

— Дед мой выше Голицына сидел, — говорил Тыртов, — у гроба Михайла Федоровича дневал и ночевал. А мы дома в лаптях ходим... К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть... Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку — дай, подьячему — дай, младшему подьячему — дай. Да еще не берут — корсотятся... Просили мы о малом деле подьячего, Степку Ремезова, послали ему посулы, десять алтын, — едва эти деньги собрали, — да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждущая рожка и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть... Иные, кто половчее, домогаются... Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему в вечное владенье дано. А Володька, — все знают, — в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля... Так чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь, — их селами жалуют... Нет правды...

Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись:

— Король бы какой взял нас на службу — в Венецию, или в Рим, или в Вену... Ушел бы я без оглядки... Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать... Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие... Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слободу, к немцам... Ну, что ж, они не православные, — их Бог рассудит... А как вошел я за ограду, — улицы подметены, избы чистые, веселые, в огородах — цветы... Иду и робею, и — дивно, ну будто во сне... Люди приветливые, и ведь тут же, рядом с нами живут. И — богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами...

— Торговлишкой заняться? — опять деньги нужны. — Михайла поглядел на босые ноги. — В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься, — горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меншиков, рас-

сказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала стрелецким полкам. А поди пошуми, — сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают как холопы... А пошли жаловаться, — челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злы... Меншиков говорил: погодите, они еще покажут...

— Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не ездил за Москву-реку.

— А что ты хочешь? Все обнищали... Такая тягота от даней, оброков, пошлин, — беги без оглядки... Меншиков рассказывал: иноземцы — те торгуют, в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три... А наши купчишки от жадности только товар гноят. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке... А куда идут деньги? Меншиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной. Снаружи обиты они медными листами, а внутри — золотой кожей...

Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смирный человек — подменили, — усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила...

— Ты чего? — спросил Василий тихо...

— На прошлой неделе под селом Воробьевом опять обоз разбили. Слыхал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни купцы везли красный товар... Погорячились в Москву к ужину доехать, не доехали... Купчишко-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников, одни следы нашли, да и те замело...

Михайла задрожал плечами, засмеялся:

— Не пужайся, я там не был, от Меншикова слышал... (Он наклонился к Василию.) Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Одоевскому... Князь Одоевского меньшому сыну... Нам с тобой однолетку...

— Спать надо ложиться, спать пора, — угрюмо сказал Василий.

Михайла опять невесело засмеялся:

— Ну, пошутили, давай спать.

Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку и пил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.

— Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Одоевского... Народ отчаянный... Он их приучил: больше года не кормил, — только выпускал ночью за ворота искать добычи... Волки...

Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подsunул под голову, глаза у него блестели.

— Доносить пойдешь на мой разговор?

Василий повесил четки, молча улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил:

— Нет, не донесу.

5

За воротами Земляного Вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья, бревенчатых изб. Везде — кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье, — все выкидывалось на улицу.

Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганных, негибачущихся войлочных кафтанах с высокими воротниками — тегилеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тегилеи, хотя и робел, — как бы на смотр не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружье показываешь, заворовался...

Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней: Васильева — в богатом чепраке и персидском седле и Михайлова — разбитого мерина, оседланного худо, плохо.

Михайла сидел накупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турецких кафтанах, — весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова мерина: «Эй, ты — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет...» Перегоняя, жгли кнутами, — мерин приседал... Гогот, хохот, свист...

Переехали мост через Язу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль бело-облезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах — крик, ругань, давка, — каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом.

Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, — как только жив остался! Выехали на Мясницкую... Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох ты!

Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, — зазывали к себе. За высокими заборами — каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей — тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие — на перекрестках, — чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусава, заголяют тело в крови и дряни... Проходим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то — калач закушу...» Тучи галок над церквушками...

Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая — трубой — соболя шапка

боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой, длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богато ли, бедно ли вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи, — много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.

Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед военными походами происходил смотр государевых служилых людей — дворянского ополчения.

Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без седел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.

Цыган только за стремя схватился: «Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!..» Василий погрозил нагайкой: «Пошуми-ка...» А когда он отъехал, Цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады...

Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани. Посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж — дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него, в лотке под ветошью, дымилась подовые пироги. Дьявол! — покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, — «румяные, горячие!». Духом поволокло Алешку к пирогам.

— Почем, дяденька?

— Полденьги пара. Язык проглотишь.

У Алешки за щекой находились полденьги — полушка, — когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает.

— Давай, что ли, — грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к са-

ням, — ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеей нет, — унесли. Кинулся к Цыгану, — тот из-под соломы обругал. У Алешки отнялись ноги, в голове — пустой звон. Сел было на отвод саней — плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?..» Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина.

Волков сидел на коне подбоченясь — в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели железные, пластинами, латы. Василия не узнать — орел. Позади — верхами — два холопа, как бочки, в тегилеях, на плечах — рогатины. Сами понимали: ну и вояки! глупее глупого. Ухмылялись.

Растирая слезы, гнусая до жалости, Алешка стал сказывать про беду.

— Сам виноват! — крикнул Василий. — Отец выпорот. А сбрую отец новую не справит, — я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем.

Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошаденюк лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола в горлатной шапке и в двух шубах — бархатной и поверх — нагольной, бараньей, — сидел страшный князь Федор Юрьевич Ромодановский.

Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи... Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня.

— Алешка, — сказал, и у самого — слезы, и губы трясутся, — Алешка, для Бога, беги к Тверским воротам, — спросишь, где двор Данилы Меншикова, конюха... Войдешь, и Даниле кланяйся три раза в землю... Скажи — Михайла, мол, бьет челом... Конь, мол, у него заплошал... Стыдно, мол. Дал бы он мне на день какого ни на есть коня — показаться. Запомнишь? Скажи — я отслужу... За коня мне хоть человека зарезать... Плачь, проси...

— Просить буду, а он откажет? — спросил Алешка.

— В землю по плечи тебя вобью! — Михайла выкатил глаза, раздул ноздри.

Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано.

Михайла промерз в седле, не евши весь день... Солнце клонилось в морозную мглу. Синел снег. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.

6

В низкой, жарко натопленной палате лампы озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав.

Под темными ликами образов на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич.

Ждали этого давно: у царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять заутрени, присел на стульчик да и свалился. Кинулись — едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих, — стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять — что? Немец нагнулся к его бескровным устам: Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по-латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия... На смертном одре — Овидия? Несомненно, царь был без памяти...

Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, — сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна, — сквозь туман слез глядела туда, где из груди перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из

бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побывала царицей. Темнобровое глупенькое ее личико распухло от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустела пальцами, — голосить боялась.

В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня — сестры, тетки, дядья и ближние бояре: Иван Максимович Языков — маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворцовых обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий — Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын — писанный красавец, — кудрявая борода с проплешиной, вздернутые усы, стрижен коротко — по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках, — князь роста был среднего.

Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный, — надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила — в родне. Петр — горяч умом, крепок телесно, Иван — слабоумный, больной, вей из него веревки... Что предпочесть? Кого?

Василий Васильевич становился боком в двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался, — в соседней тронной палате гудели бояре. С утра, не пивши, не евши, прели в шубах — Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата: лаются, поминают обиды, чувят, — сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.

— Гвалт, проше пана, — прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: — Ты б, Иван Максимович, все ж поспрошал патриарха, — он-то за кого?

Курчавый, сильно заросший русым волосом Языков румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх, — от жары запотел, пах розовым маслом.

— И владыка и мы твоего слова ждем, князюшка...
А мы-то как будто решили...

Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду:

— Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили: Ивану быть царем трудно, непрочно, — хил. Нам сила нужна.

Василий Васильевич опустил ресницы, усмехался уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно.

— Будь так, — сказал, — быть царем Петру.

Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью. Не плавно, лебедем, как подобало бы девице, — она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, — мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла — о чем он только что говорил и что ответил.

Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.

Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико, — завывала низким голосом. Закричали ее сестры... Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин, рослый и тучный, в шубе до пят, — стал гладить царицу по спине. К патриарху подбежал Язы-

ков, припал и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату. Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рукавами, выставя бороды, без стыда выкатывая глаза: «Что, ну что, владыко?..»

— Царь Федор Алексеевич преставился с миром... Бояре, поплачем...

Его не слушали, — теснясь, пихаясь в дверях, бояре спешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его восковые руки. От духоты начали трещать и гаснуть лампы. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли братья князя Голицыны, Петр и Борис Алексеевич, черный, бровастый, страшный видом князь Яков Долгорукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал:

— У нас ножи взяты и панцири под платьем... Что ж, кричать Петра?

— Идите на крыльцо, к народу. Туда патриарх выйдет, там и крикнем... А станут кричать Ивана Алексеевича, — бейте воров ножами...

Через час патриарх вышел на Красное крыльцо и, благословив тысячную толпу — стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил — кому из царевичей быть на царстве? Горели костры. За Москвой-рекой садился месяц. Его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:

— Хотим Петра Алексеевича...

И еще хриплый голос:

— Хотим царем Ивана...

На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра, Петра!..»

7

На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинутой на голову шубейке, велела ему идти по обмерзлой лестнице наверх, в горницу, сама хи-

хикнула ни к чему, шмыгнула под крыльцо, в подклеть, где в темноте горели дрова в печи.

Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-то наверху кричит дурным голосом. «Ну, — подумал он, — живым отсюда не уйти...» Ухватился за обстроганную чурочку на веревке, — едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос ударило жаром натопленной избы, редькой, водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое — поп с косицей, рыжая борода — веником, и низенький, рябой, с вострым носом.

— Вгоняй ему ума в задние ворота! — кричали они, стуча чарками.

Третий, грузный человек, в малиновой рубахе распоясской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому заду. Исполосованный, худощавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятка!» — визжал тот, кого порол. Алешка обмер.

Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо:

— Еще чадо, лупи его заодно!

Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал...» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик с бело-голубыми круглыми глазами. Кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к своему лицу — медному, потному, обдал жарким перегаром:

— Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По дворам шарить?

Алешка, стуча зубами, стал рассказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы, — ничего не понимал... «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел? Конокрад?...» Алешка заплакал, забожился, закрестился трехперстно... Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногою дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы...

— Выбивай вора со двора, — заорал он, шатаясь, — Шарок, Бровка, взы его...

Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меншиков вернулся к столу. Сопя, налил чарки. Щепотью захватил редьки.

— Ты, поп, Писание читал, ты знать должен, — загудел он, — сын у меня от рук отбился... Заворовался вконец, сучий выкидыш. Убить мне, что ли, его? Как по Писанию-то? А?

Поп, Филька, ответил степенно:

— По Писанию будет так: казни сына от юности его, и покоит тя на старость твою. И не ослабляй, бия младенца, аще бо жезлом биеша его, не умрет, но здоровее будет; учащай ему раны — бо душу избавлявши от смерти...

— Аминь, — вздохнул востроносый...

— погоди, — отдышусь, я его опять позову, — сказал Данила. — Ох, плохо, ребята... Что ни год — то хуже... Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет... Царское жалованье по два года не плочено... Жрать нечего стало... Стрельцы грозятся Москву с четырех концов поджечь... Шатание великое в народе... Скоро все пропадем...

Рябой востроносый начетчик Фома Подщипаев сказал:

— Никониане древнюю веру сломали, а ею (поднял палец) земля жила... Новой веры нет... Дети в грехе рождаются, — хотя его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет... Дети века сего... Никониане. Стадо без пастыря, пища сатаны... Протопоп Аввакум писал: «А ты ли, никониан, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, принести...» Дьяволу! (Опять поднял палец.) И далее: «Кто ты, никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный...»

— Псы! — Данила бухнул по столу.

— Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются, псы проклятые! — сказал поп Филька.

Фома Подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять:

— И о сем сказано у протопopa Аввакума: «Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской! Вспомни, как жил Мелхиседек в чаше леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо пития росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и романеи, и водок, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской. Видишь ли, как Мелхиседек жил. На вороньих в каретах не тешился, ездя. Да еще и был царской породы. А ты кто, попенок?.. В карету садися, растопырисся, что пузырь на воде, сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу, по площади, чтоб черницы-воруки любили... Ох, ох, бедной... Явно ослепил тебя дьявол... И не видал ты и не знаешь духовного жития...»

Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся. Данила еще налил. Выпили.

— Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут, — сказал он. — Дал бы Бог — стрельцы за старину встали...

Он обернулся. Залаяли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли Иисусову молитву. «Аминь», — ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец Пыжова полка, Овсей Ржов, шурин Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы.

— Пируете! — сказал спокойно. — А какие дела делаются наверху, вы не знаете?.. Царь помер... Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули... Вот это беда, какой не ждали... Все в кабалу пойдем к боярам да к никонианам...

8

Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову. Зажмурился... И не разорвали... Вот так чудо, — Бог спас! Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:

— Эй, ты кто?

Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел на корточках да-
вешний мальчик, — кого только что пороли.

— Как зовут? — спросил он.

— Алешкой.

— Чей?

— Мы — Бровкины, деревенские.

Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему, — то наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть, бойкий мальчик...

— Пойдем греться, — сказал он. — А не пойдешь, гляди, я тебя... Драться хочешь?

— Не, — Алешка живо прилег.

И опять они смотрели друг на друга.

— Пусти, — протянул голосом Алешка, — не надо... Я тебе ничего не сделал... Я пойду...

— А куда пойдешь-то?

— Сам не знаю куда... Меня обещались в землю вбить по плечи... И дома меня убьют.

— Порет тятка-то?

— Тятка меня продал в вечное, ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил, — конечно, пороли...

— Ты что же — беглый?

— Нет еще... А тебя как зовут?

— Алексашкой... Мы Меншиковы... Меня тятка когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.

— Эх ты, паря...

— Пойдем, что ли, греться...

— Ладно.

Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел.

— Васёнка, тятке ничего не говори, — скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабе-стряпухе. — Разувайся, Алешка. — Он снял валенки. Алешка разулся. Залезли на печь, занимавшую половину подклети. Там в темноте чьи-то глаза смотрели не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подалась в самую глубь, за трубу.

— Давайте чего-нибудь говорить, — прошептал Алексашка. — У меня мамка померла. Тятка по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут...

— Они вытрясут, — поддакнул Алешка.

Девочка за трубой шмыгнула.

— То-то и я говорю... Намедни у Серпуховских ворот видел, — цыгане стоят табором, с медведями... На дудках играют... Пляс, песни... Они звали. Уйдем с цыганами бродить?.. А?

— С цыганами голодно будет, — сказал Алешка.

— А то наймемся к купцам чего-нибудь делать... А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского, — он их ловит, он научит... Ты будешь медведя водить, а я — петь, плясать... Я все песни знаю. А плясать злее меня нет на Москве.

Девочка за трубой чаще зашмыгала, Алексашка ткнул ее в бок:

— Замолчи, постылая... Вот что, мы ее с собой тоже возьмем, ладно?

— С бабой хлопот много...

— К лету ее возьмем, грибы собирать, — она дура, дура, а до грибов страсть бойкая... Сейчас мы шей похлебаем, меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягем спать. А чуть свет побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегает, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не находилось...

— Купца бы найти, наняться — пирогами торговать, — сказал Алешка.

На крыльце бухнула дверь, — уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.

9

На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами, — кружало — царев кабак. Над воротами — бараний череп. Ворота широко раскрыты, — входи кто хочет. На дворе на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные, — у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с расписными задками, саней стоят у ворот и на дворе.

В избе за прилавком — суровый целовальник с черными бровями. На полке — штофы, оловянные кубки. В углу — лампы перед черными ликами. У стен — лавки, длинный стол. За перегородкой — вторая, чистая палата для купечества. Туда если сунется ярыжка какой-нибудь или пьяный посадский, — окликнет целовальник, надвинув брови, — не послушаешь честью — возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.

Там, во второй палате, — степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах, — дела ныне такие, что в затылке начешешься.

В передней избе у прилавка — крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет, — снимай шубу. А весь человек пропился, — целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола, — за ухом гусиное перо, на шее чернильница, — и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом.

— Ныне пить легче стало, — говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. — Ныне друг за тобой придет, сродственник, или жена прибежит, уведет, куда душу не пропил. Ныне мы таких от-

пускаем, за последним не гонимся. Иди с Богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил... Стой... Убыток казне. И этот грош казне нужен... Сейчас кричишь караул. Пристава его, кто пить отговаривает, хватают и — в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед... Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим...

10

Сегодня у кабака народ лез друг на друга, заглядывал в окошко. На дворе, на крыльце не протолкаться. Много виднелось стрелецких кафтанов — красных, зеленых, клюквенных. Теснота, давка. «Что такое? Кого? За что?..» Там, в кабаке, в чистой избе стояли стрельцы и гостинодворцы. В тесноте надышали, — с окошек лило ручьями. Стрельцы привели в избу полуживого человека, — он лежал на полу и стонал, надрывая душу. Одежда изорвана в клочья, тело сытое. В серых волосах запеклась кровь. Нос, щеки — все разбито.

Стрельцы, указывая на него, кричали:

— И с вами то же скоро будет...

— Дремлете? А они на Кукуе не дремлют...

— Ребята, за что немцы бьют наших?

— Хорошо, мы шли мимо, вступились... Убили бы его до смерти...

— При покойном царе разве такие дела бывали? Разве наших давали в обиду иноземцам проклятым?

Овсей Ржов, стрелец Пыжова полка, унимал товарищей, говорил гостинодворским купцам с поклоном:

— По бедности к вам пришли, господа честные гости, именитые купцы. Деваться нам стало некуда с женами, малыми ребятами... Вконец обхудали... Жалованье нам не идет второй год. Полковники нас замучили на надсадной работе. А жить с чего? Торговать в городе нам не дают, а в слободах тесно... Немцы всем завладе-

ли. Ныне уж и лен и пряжу на корню скупили. Кожи скупают, сами мнут, дьяволы, на Кукуе... Бабы наших, слободских, башмаков нипочем покупать не хотят, а спрашивают немецкие... Жить стало не можно... А не вступитесь за нас, стрельцов, и вы, купцы, пропадете... Нарышкины до царской казны дорвались... Жаждут... Ждите теперь таких пошлин и даней, — все животы отдадите... Да ждите на Москву хуже того — боярина Матвеева, — из ссылки едет... У него сердце одебелело злобой. Он всю Москву проглотит...

Страшны были стоны избитого человека. Страшны, темны слова стрельца. Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избili этого купчишку. Дело темное. Однако ж и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить, — с каждым годом — скуднее, тревожнее... Что ни грамота: «Царь-де сказал, бояре приговорили», — то новая беда: плати, гони деньги в прорву... Кому пожалуется, кто защитит? Верхние бояре? Они одно знают — выколачивать деньги в казну, а как эти деньги достаются — им все равно. Последнюю рубаху сними, — отдай. Как враги на Москве.

В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных перстнях.

— Мы, то есть Воробьевы, — сказал, — привезли на ярмарку в Архангельск шелку-сырца. И у нас, то есть немцы, — сговорились между собой, — того шелку не купили ни на алтын. И староста ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: «Мы-де сделаем то, что московские купчишки у нас на правеже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то есть нас, московских, торговать одними лаптями...»

Гул пошел по избе... Стрельцы: «А мы что вам говорим! Да и лаптей скоро не будет!..» Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми волосами.

— Я с Поморья, — сказал бойко, — ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал — с пустыми возами. Иноземцы, Макселин да Биркопов, у поморов на десять

лет вперед все ворвань сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велют. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь... Нам, русским людям, на север и ходу нет теперь...

Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Овсей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился:

— Нам — дай срок — с полковниками расправиться... А тогда и до бояр доберемся... Ударим набат по Москве. Все посады за нас. Вы только нас, купцы, подержите... Ну, ребята, подымай его, пошли дальше...

Стрельцы подхватили избитого человека, — тот завыл, мотая головой: «Ой, уби-и-и-и-и-ли», — и поволокли его из избы, распихивая народ, на Красную площадь — показывать.

Гостинодворцы остались в избе, — смутно! Ох, смутны, лихи дела! Тоже ведь, свяжись со стрельцами: шпыни, им терять нечего... А не свяжешься — все равно бояре проглотят...

11

Алексашку на этот раз, после вечерней, выдрали без пощады, — едва приполз в подклеть. Укрылся, молчал, хрустел зубами. Алешка носил ему на печь каши с молоком. Очень его жалел: «Эх ты, как тебя, паря...»

Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы и — отошел, разговорился:

— Эдакого отца на колесе изломать, аспида хищного... Ты, Алешка, возьми потихоньку деревянного масла за образами, — я задницу помажу, к утру подсохнет, тогда и уйдем... Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть...

Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе домовые голоса. Стряпухина девчонка тихо плакала. Алешке приснилась мать, — стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз, и все

к голове подносит руки, жалуется... Алешка истосковался во сне.

Чуть свет Алексашка толкнул его: «Будя спать-то, вставай». Почесываясь, обулись поладнее. Нашли полкраюхи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое. Сыро. Шуршат, падают сосульки. Черны извилистые бревенчатые улицы. За деревянным городом разливаются, совсем близко, заря туманными кровавыми полосами.

На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, юродивые — спозаранок занимать места на папертях. По Воздвиженке гнали по навозной дороге ревуший скот — на водопой на речку Неглинную.

Вместе со скотом мальчишки дошли до круглой башни Боровицких ворот. У чугунных пушек дремал в бараньем тулупе немец-мушкетер.

— Тут иди сторожо, тут царь недалеко, — сказал Алексашка.

По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора, они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы — по два столба с перекладной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.

— А вон еще двое, — сказал Алексашка: во рву на дне валялись трупы, полузанесенные снегом, — это воры, во как их...

Вся площадь от Иверской до белого, на синем цоколе, с синими главами, Василия Блаженного была пустыня. Санная дорога вилась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича тревожно, по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до восьми, заморская

музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.

— Идем, Алексашка, а то еще нас увидят...

— Со мной ничего не бойся, дурень.

Они пошли через площадь. По той ее стороне тесно громоздились дощатые лавки, балаганы, рогожные палатки. Гостинодворцы уже снимали с дверей замки, вывешивали на шестах товары. В калашном ряду дымили печки, — запахло пирогами. Со всех переулков тянулся народ.

Алексашка оставлял без внимания, — дадут ли по затылку, обругают: до всего ему было дело. Лез сквозь толпу к лавкам, заговаривал с купцами, приценивался, отпускал шуточки. Алешка, разинув рот, едва за ним поспевал. Увидев толстую женщину в суконной шубе, в лисьей шапке поверх платка, Алексашка заволочил ногу, пополз к купчихе, тряся, заикался. «У-у-у-у-бо-гому, си-си-сиротке, боярыня-матушка, с го-го-голоду помираю...» Вдова-купчиха, подняв юбку, вынула из привешенного под животом кисета две полкопейки, подала, степенно перекрестилась. Побежали покупать пироги, пить горячий, на меду, сбитень.

— Я тебе толкую — со мной не пропадешь, — сказал Алексашка.

Народу все подваливало. Одни шли поглядеть на людей, послушать, что говорят, другие — погордиться обновой, иные — стянуть, что плохо лежит. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волосы, — зазывали народ цирюльники, щелкали ножницами. Кое-где уж посадили на торчком стоящее полено, надели на голову горшок, стригли. Больше всего шуму было в нитошном ряду. Здесь бабы кричали как на пожаре, покупая, продавая нитки, иголки, пуговицы, всякий пошивной приклад. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак.

Когда опять вышли к площади, — кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.

— Православные, — со слезами говорили они на все стороны, — глядите, что с купцом сделали...

Этого человека положили в чьи-то лубяные сани. Стрелец Овсей Ржов, взлезши на них, стал говорить все про то же: как немцы по злобе убили едва не до смерти доброго купца и как верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам... Алексашка с Алешкой пробрались к самым саням.

Алешка, присев на корточки, сразу признал в избитом того самого пухлого, с маленькими глазами, в заячьей шапке, посадского, кто на Лубянке продал ему два подовых пирога. От него несло водкой. Стонать он устал. Лежа на боку, мордой в соломе, только повторял негромко:

— О-ох... Отпустите меня, Христа ради...

Овсей Ржов, крестясь, кланялся церквям и народу. Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали: «Скачут, скачут!..»

От Спасских ворот по санному следу скакали два всадника. Передний — в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по бархатному чепраку. Не задерживая хода, бросив поводья, он врезался в толпу. Испуганные руки схватили коня под уздцы. Всадник быстро вертел головой, оказывал редкие желтые зубы, — широколобый, с запавшими глазами, с жесткой бородкой... Это был Тараруй, — как прозвали его в Москве, — князь Иван Андреевич Хованский, воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худародных Нарышкиных. Стрельцы, завидя, что он в стрелецком кафтане, закричали:

— С нами, с нами, Иван Андреевич! — и побежали к нему.

Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:

— Бунтуете, православные? Кто вас обидел, за что? Говорите, говорите, мы о людях день и ночь душой бо-

леем... А то царь увидел вас сверху, испугался по малолетству, нас послал разузнать...

Люди разинув рты глядели на его парчовую шубу, — пол-Москвы можно купить за такую шубу, — глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывала коня, — огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Усмехаясь, Василий Васильевич подъехал и стал стремя о стремя с Хованским.

— Отдайте нам в руки полковников, мы сами их рассудим: вниз головой с колокольни, — кричали ему стрельцы. — О чем бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали, нарышкинского ублюдка?

Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли...

— Стрельцы! — Он привстал в седле, от натуги побагровел, горловой голос его слышали самые дальние. — Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном яре... Теперь выбрали бог знает какого царя. Не я его кричал... И увидите: не только денег, а и корму вам не дадут... И работать будете как холопы... И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным... Хуже того... Продадут и вас и нас всех чужеземцам... Москву сгубят и веру православную искоренят... Эх, была русская сила, да где она!

Тут весь народ так страшно закричал, что Алешка испугался: «Ну, затопчут совсем...» Алексашка Меншиков, прыгая по саням, свистал в два пальца. И разобрать можно было только, как Тараруй, надсаживаясь, крикнул:

— Стрельцы! Айда за реку в полки, там будем говорить...

На площади остались только распряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

| | |
|-----------------------|-----|
| Глава первая | 5 |
| Глава вторая | 56 |
| Глава третья | 96 |
| Глава четвертая | 126 |
| Глава пятая | 205 |
| Глава шестая | 288 |
| Глава седьмая | 312 |

КНИГА ВТОРАЯ

| | |
|-----------------------|-----|
| Глава первая | 374 |
| Глава вторая | 449 |
| Глава третья | 529 |
| Глава четвертая | 592 |
| Глава пятая | 645 |

КНИГА ТРЕТЬЯ

| | |
|-----------------------|-----|
| Глава первая | 689 |
| Глава вторая | 706 |
| Глава третья | 734 |
| Глава четвертая | 755 |
| Глава пятая | 791 |
| Глава шестая | 825 |

Литературно-художественное издание

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
ПЕТР ПЕРВЫЙ

Ответственный редактор Алла Степанова

Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Раткевич

Компьютерная верстка Елены Долгиной

Корректоры Валерий Камендо, Нина Тюрина, Елена Шнитникова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 02.06.2017. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 38,07. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93



www.oaompk.ru, www.oaompk.pf

Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



AAKB1565002R